
САВВА МИРОШ
НЕБЫЛЬ
ВО ЧТО ВЕРИЛИ ДО НАС

Савва Мирош

Небыль

«Автор»
2026

Мирош С.

Небыль / С. Мирош — «Автор», 2026

Почему перед выходом из дома мы обязательно «присаживаемся на дорожку», боимся передавать вещи через порог и ни за что не свистим в комнатах? Откуда взялась Баба-Яга до того, как стала персонажем детских сказок, и почему баня считалась самым опасным местом во всей деревне?Эта книга — увлекательное культурологическое погружение в мир представлений и верований наших предков. Здесь нет мистических спекуляций, оккультизма и академического занудства — только этнография, здравый смысл и бережное внимание к первоисточникам.Каждая глава книги разбирает один конкретный образ или старинный обычай: от домовых, дворовых и банников до оберегов и защитных заговоров. Вы узнаете, как была устроена сложная система правил деревенского общежития, почему невидимый «хозяин» за печью выполнял роль суда, полиции и психолога, и как древние архетипы продолжают незаметно управлять нашими бытовыми привычками в XXI веке.

© Мирош С., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1 — Домовой: как с ним «договаривались» и почему ему оставляли еду 6
Глава 3 — Баба-Яга: кем она была до сказок 17
Конец ознакомительного фрагмента. 23

Савва Мирош
Небыль

«НЕБЫЛЬ» — Домовые, боги и старые приметы

Глава 1 — Домовой: как с ним «договаривались» и почему ему оставляли еду

Если у вас в детстве дома что-то пропадало — ключи, носок, ложка — кто это забирал? Правильный ответ по народной логике звучал так: домовой балует. И произносили это не шутя. Человек, который жил в избе сто пятьдесят лет назад, был совершенно уверен: кроме семьи, в доме есть ещё кто-то. Невидимый, старший и очень обидчивый. Сегодня разберёмся, кто это был на самом деле, откуда он взялся, как с ним обращались и что за всем этим стояло.

Это «НЕБЫЛЬ», меня зовут Савва Мирош.

Начнём с имени. Слово «домовой» в деревне почти никогда не произносили вслух. Говорили «дедушка», «хозяин», «сам», «батюшка-дворовой», «кормилец», «суседко». Даль в своих записях о народных поверьях собрал несколько десятков таких замен, и в разных губерниях они были разные: где-то говорили «дед», где-то «хозяин», где-то «жировой» — от слова «жить», то есть тот, кто живёт при доме.

И это не случайность, а правило: настоящее имя домашнего духа называть было нельзя, иначе придёт. Точно так же обходились с лешим, которого называли «лесной дед» или «хозяин», и с водяным, которого звали «дедушка водяной». Заменить имя — значит не звать. Эта механика есть во многих культурах, и у неё простое объяснение: имя воспринималось как способ обращения, почти как дверь.

Кто он такой? Версий в этнографии три, и все три сосуществовали одновременно — крестьянин не выбирал между ними, он просто знал, что домовой бывает и тем, и другим.

Первая версия, самая распространённая: домовой — это умерший предок, основатель рода, который остался при доме. В пользу неё говорит очень многое. К домовому обращались «дедушко» — то есть родственным словом. Его кормили первым, и эта еда была не подношением духу, а поминальной трапезой. Его просили о том же, о чём просили покойных родителей: о здоровье детей, о достатке, о защите.

Есть и более древний слой. В славянской традиции, как и во многих других, умерших хоронили под порогом жилища или под печью. Порог — это не просто вход, это место, где лежат предки, и поэтому через порог ничего не передают и на нём не сидят. Печь — центр дома, и под печью тоже «жили свои». Получается, что домовой буквально живёт там, где похоронен основатель дома.

Вторая версия: домовой — нечистый дух из тех, что, по народному христианству, упали с неба вместе с сатаной и попали внутрь жилища. Эта версия пришла из книжной, духовной традиции — из апокрифов и духовных стихов, которые рассказывали, что падшие ангелы рассыпались по миру: кто попал в воду, стал водяным, кто в лес — лешим, кто в дом — домовым. Народная религия спокойно совместила это с первой версией, и противоречия никто не замечал.

Третья версия, самая простая: это дух самого дома, усадьбы, вот этой конкретной печи и этого конкретного двора. Не предок и не бес, а свойство места. Дом имеет хозяина, потому что дом — это не коробка, а живое тело.

Первая версия выглядит самой устойчивой, и вот почему. К домовому относились не как к демону, которого надо изгнать, а как к старшему, которого надо уважать. Его не прогнали бы из дома — его перевозили с собой.

Теперь о внешности. В записях девятнадцатого века он чаще всего маленький, лохматый, седой, иногда — в шерсти до самых глаз. Мог показаться хозяином в тулупе, стариком в красной рубахе, котом, собакой, а иногда просто тяжестью на одеяле ночью. Сергей Максимов в своей книге «Нечистая, неведомая и крестная сила», которая вышла в 1903 году и до сих пор

остаётся главным собранием этих рассказов, приводит десятки описаний, и в них повторяется одно: домовой выглядит как член семьи, только маленький и заросший.

Зеленин в своей работе о восточнославянской этнографии прямо пишет: облик домового почти всегда связан с обликом домашнего животного. Отсюда, между прочим, и привычка держать в доме кошку — кошка виделась как существо одного порядка с домовым, и поэтому её первой впускали в новый дом.

И вот важная деталь: показаться домовому — плохая примета. Если хозяин его увидел, ждали беды, чаще всего смерти в доме. Это очень характерно для всей народной демонологии: видеть своего домашнего духа — значит, граница нарушена, и скоро что-то случится.

Теперь — устройство двора, потому что домовой был не один. У народного хозяйства была целая иерархия духов, и у каждого был свой участок и свой характер.

Домовой — хозяин избы, внутреннего жилого пространства. Дворовой, или «дворовой батюшка», — хозяин двора, то есть хозяйственных построек: он отвечал за хлев, за скотину, за сарай. Дворового боялись заметно больше, чем домового: считалось, что он злее и капризнее, и особенно не любит новую скотину. Овинник жил в овине, где сушили зерно, и он же был самым опасным — потому что овин топили, а огонь и зерно рядом, и любая ошибка заканчивалась пожаром. Ригачник жил в риге, банник — в бане, гуменник — на гумне.

Обратите внимание на логику: у каждого хозяйственного объекта был свой хозяин с той стороны. Это не случайный набор страшилок, это карта усадьбы, где каждое опасное место — огонь, вода, скот, зерно — получило отдельного надзирателя и отдельный набор правил.

Что домовой делал? Любил исправное хозяйство. Не любил лень, ругань, грязь и зеркала на ночь. Если в доме начинали ссориться — домовой, по поверьям, «душил» по ночам: просыпаешься, а на груди тяжесть, и ни вдохнуть, ни крикнуть. Если хозяйство было ему по нраву, он «ходил» за скотиной и помогал.

И вот тут самая красивая деталь. В деревнях считали, что домовой любит одних лошадей и не любит других. Любимым — чаще всего серым и белым — он ночью заплетал гриву в косички, а нелюбимых, рыжих или буланых, загонял до пены: к утру конь мокрый, грива в колтунах, а в стойле всё перевёрнуто. Хозяйка выходит в хлев и видит результат — значит, дедушка недоволен.

Чтобы умилостивить его, покупали лошадь любимой масти. А если конь всё равно не нравился домовому, его старались продать. Есть записанные рассказы о том, как семья годами не могла держать скотину, потому что «дедушка не любит», — и проблема решалась только переездом.

Отсюда же — обряды, которые нам кажутся суеверием, а на деле были правилами общежития.

Первую ложку каши вечером оставляли за печкой или под печкой. В некоторых губерниях домовому оставляли кусок хлеба с солью на столе, накрыв полотенцем. По большим праздникам — кутью или кашу с маслом. Это была регулярная, почти ежедневная практика, и она задавала ритм: вечерняя еда заканчивалась тем, что часть отдавали невидимому члену семьи.

Нож на ночь со стола убирали. Свистеть в доме запрещали детям — и не потому, что «денег не будет», а потому что свист в жилом пространстве считался языком нечисти: свистишь — значит, зовёшь. На ночь запирали дверь и не оставляли воду в открытой посуде. Зеркало занавешивали.

Отдельный большой ритуал — переезд. Домового обязательно перевозили, и это было делом серьёзным, с точным сценарием. Выносили из избы старый лапоть или горшок с печной золой, ставили его на телегу и говорили формулу, которую Афанасьев записал в «Поэтических воззрениях славян на природу»: «Домовой, домовой, пойдём со мной, там тоже будем жить». В

некоторых местах вместо лаптя выносили хлеб-соль, в других — икону, под которую домовой должен был пройти.

Считалось, что дом без своего хозяина пустеет и разваливается за пару лет. И наоборот: если домовой ушёл сам, в семье ждут беды.

Покупая дом на стороне, домового тоже «перевозили» — брали горсть земли со старого двора или уголь из печи. А въезжая в новый дом, первым делом пускали кота: считалось, что кот либо подружится с хозяином, либо дом будет несчастлив.

Были и способы договориться в трудной ситуации. Если в доме завелись клопы или тараканы, обращались к домовому с просьбой вывести их — и существовали специальные заговоры, записанные собирателями. Если болел ребёнок, просили домового. Если пропадала вещь, говорили: «Дедушка-суседушка, поиграй да отдай» — и вещь находилась.

А если домовой сердился, дом это чувствовал сразу: ночью слышны шаги, стук, возня; дверь сама открывается; посуда бьётся; скотина болеет; молоко скисает; у хозяйки пропадает тесто. Тогда его задабривали — оставляли еду, говорили ласковые слова, а иногда выносили во двор угощение и просили вслух, чтобы «перестал шалить».

Отдельная традиция, которая сложилась позже, — именины домового. В народных календарях девятнадцатого века ему отводили десятое февраля, Ефремов день: в этот вечер оставляли ему кашу, а в доме не ругались. Это уже поздний слой, почти городской фольклор, но показательный: у духа появился свой праздник, как у члена семьи.

Теперь — роль домового в главных моментах жизни, потому что она была не бытовой, а обрядовой.

Когда в доме рождался ребёнок, роженицу уводили в баню, но дому сообщали: считалось, что домовой должен знать о новом жильце, иначе он его не примет. Ребёнка, которого «не приняли», по поверьям, плохо спал, плакал и болел — и к нему применяли особый обряд: клали на порог или подносили к печи с просьбой к дедушке взять дитя под себя. Формула «под руки домового» встречается в записях из нескольких губерний.

Когда в дом приводили невесту, её тоже «представляли» домовому: молодая жена кланялась печи — тому самому центру дома, где живёт хозяин. И это имело прямой практический смысл: невестка входила в чужую семью, в чужой дом, где ей предстояло прожить десятилетия. Поклон печи был её принятием в этот дом, а дом принимал её через своего духа.

Когда в доме кто-то умирал, открывали дверь и окно — чтобы душа вышла. И вот здесь домовой оказывался в особом положении: он сам был из умерших, и потому смерть в доме его касалась напрямую. Считалось, что домовой предчувствует её и начинает выть, стучать или выходить во двор. Есть записанные рассказы о том, как хозяин слышал ночью возню и плач, а утром умирал кто-то из стариков.

Домовой, таким образом, замыкал круг: предок, который остался при доме, встречает нового члена семьи и провожает старого. Он был не страшилкой, а хранителем непрерывности рода.

Что бывает, если домовой уходит? Это отдельный сюжет, и он всегда печальный. По поверьям, уход домового означает, что дом обречён: в нём начинаются болезни, скотина не держится, деньги не водятся, а сам сруб через несколько лет сгорает или разваливается. Уходили, как считали, от постоянных ссор, от грязи, от того, что в доме перестали соблюдать обычай, — и особенно от того, что в дом привели «нелюбимого» человека: злого, завистливого, чужого по духу.

Поэтому в деревне так боялись скандалов. Не из-за соседского мнения, а потому что от скандалов уходит хозяин, а без хозяина дом пустой.

Были и способы вернуть его. Дом оставляли на ночь открытым, ставили на стол еду и просили вслух. Иногда приглашали знахаря, который читал особый заговор. Иногда переносили в новый дом уголь из старой печи — то есть возвращали связь с прежним местом.

Отдельно скажу про заговоры, потому что это интересный пласт. Домовой фигурирует в народных заговорах трёх типов. Первый — охранные: «дедушка-суседушка, стереги дом от лихого человека, от огня, от воды». Второй — хозяйственные: чтобы скотина велась, чтобы молоко не пропадало, чтобы тесто поднималось. Третий — поисковые: о пропавшей вещи, о потерянной скотине.

Собиратели записали сотни таких текстов, и они устроены одинаково: сначала обращение к адресату, потом перечисление того, о чём просят, и наконец закрепка — «слово моё крепко» или «ключ в море, замок во рту». Это не поэзия, это юридический документ, только адресован не судье, а духу.

И вот что замечательно в этих заговорах: в них домового почти никогда не боятся. С ним разговаривают как с соседом или со старшим родственником — уважительно, но без ужаса. Страх перед ним появляется в поздних городских рассказах, а в деревенской традиции домовой — скорее свой, чем чужой. Его боялись не больше, чем боялись строгого деда.

Отдельный сюжет — чужой домовой. Если семья переезжала и не перевозила своего, считалось, что в новом доме живёт чужой хозяин, и с ним надо договариваться заново. Отсюда обычай при новоселье угощать не только гостей, но и дом: оставляли хлеб-соль на столе на первую ночь.

И ещё один — конфликт духов. Дворовой, как я говорил, считался злее домового, и между ними бывали ссоры. Рассказывали, что домовой жалуется хозяину во сне на дворового, и хозяин должен рассудить. Звучит нелепо, но функционально понятно: скотина во дворе болеет по одним причинам, а в избе неурядицы — по другим, и народная логика разводила их по разным хозяевам, чтобы не смешивать.

Теперь — сравнительная мифология, потому что домовой не уникален. У него есть почти точные двойники по всей Европе, и это многое говорит о происхождении образа.

В Шотландии — брауни, маленький лохматый дух, который по ночам выполняет домашнюю работу: мелет, молотит, присматривает за скотом. Ему оставляют миску молока или сливок. И есть знаменитое правило: если брауни подарить одежду, он обидится и уйдёт навсегда. В Англии — хоб, или хобтраст, с той же функцией.

В Германии — хайнцельменхены, маленькие духи, которые, по кёльнскому преданию, ночами работали за портных и пекарей, а исчезли после того, как любопытная жена портного рассыпала по полу горох, чтобы они упали, и подсмотрела. Смысл тот же: домашнего духа нельзя подглядывать, он живёт, пока его не видят.

В Скандинавии — ниссе у норвежцев и датчан, томте у шведов. Это маленький старик в шапке, живущий на хуторе, и с ним были ровно те же отношения: ему оставляли кашу с маслом на Рождество, он присматривал за скотиной, он обижался на небрежность. В Норвегии до сих пор ставят миску каши ниссе — традиция не прервалась.

В Древнем Риме — лары и пенаты. Лары — духи-хранители домашнего очага, у которых в атриуме стоял специальный шкафчик, ларарий, с фигурками. Им приносили пищу, бросали часть еды в очаг, и семья молилась им ежедневно. Пенаты — хранители кладовой и запасов. И вот что важно: римские лары тоже считались духами умерших предков — это ровно та же модель, что и у славянского домового.

В Японии — дзасики-вараси, дух в облике ребёнка, живущий в доме и приносящий удачу, и его тоже кормят и задабривают.

Когда один и тот же образ независимо возникает в культурах, которые не общались, это значит, что он вырос не из заимствования, а из одинаковых условий жизни. А условия были такие: оседлое земледельческое хозяйство, большой дом, где живут поколения, печь как центр, скот во дворе, и полное отсутствие государственных институтов, которые следили бы за порядком.

И вот тут мы подходим к главному вопросу: зачем всё это было нужно.

Смотрите, что получается. Невидимый наблюдатель, который живёт в доме, всё видит, всё помнит и наказывает за скандал и за грязь. Это готовая система социального контроля внутри семьи, где не было ни полиции, ни суда, ни психолога, ни возможности разъехаться.

В большой избе жили три поколения — иногда пятнадцать человек в двух комнатах. Держать их вместе можно было только порядком, и порядок этот не мог опираться на закон: закона для внутреннего семейного быта не существовало. Он опирался на обычай, а обычай, чтобы работать, должен быть одушевлён. Дедушка за печкой — это одушевлённый обычай.

Плюс практический слой. Кормление скотины по расписанию, чистота в избе, осторожность с огнём, убранная посуда и ножи, отсутствие скандалов при детях — всё это правила, которые просто перевели на понятный язык. Никто не мог объяснить ребёнку, зачем нельзя свистеть ночью: объяснение «разбудишь младших» работает хуже, чем «зовёшь нечисть».

И ещё один слой, психологический. Дом, в котором живёт кто-то старший и доброжелательный, — это дом, где ты не один. В мире, где человек был беззащитен перед голодом, болезнью, пожаром и произволом, ощущение, что дом тебя хранит, было не украшением жизни, а её условием. Домовой давал это ощущение.

Отсюда же растут и все наши сегодняшние привычки: присесть на дорожку, не передавать вещи через порог, не возвращаться, если забыл ключи, первым пустить в новый дом кота, не дарить часы, стучать по дереву. Порог и печь в народной картине мира — это граница между своим и чужим, между живыми и теми, кто был до нас. Поэтому на пороге ничего не делают: там стоят.

Разберём два самых живучих из этих правил, потому что они хорошо показывают, как работает механизм.

Первое — «присесть на дорожку». Формально это суеверие, практически — секунда паузы перед выходом. За эту секунду человек вспоминает, взял ли документы, выключил ли утюг, закрыл ли окно. Обряд, который выглядит как уступка неведомой силе, на деле работает как список проверки. Именно поэтому он дожил до нас: он полезен, и полезен независимо от того, веришь ты в домового или нет.

Второе — «не возвращаться, если забыл что-то и уже вышел». Здесь логика другая. Возвращение ломает начатое действие: ты уже вышел, ты уже в пути, а возврат означает, что решение не принято. Народная мысль это чувствовала и оформила как запрет, связанный с порогом. Порог — место, где нельзя находиться: там либо внутри, либо снаружи. Отсюда же и запрет передавать вещи через порог — руку нужно протягивать целиком, а не держать другого человека на границе.

То же самое и с котом, которого первым пускают в новый дом. У обычая несколько объяснений, и они не исключают друг друга. Кот — животное, которое замечает то, чего не замечает человек, и по его поведению в новом доме судили, прижилось ли место. Кот первым обходит помещение и как бы осваивает его для людей. И наконец, чисто практическая причина: кот ловит мышей, а в новом доме, куда перевезли запасы, мыши — главная беда.

Интересно, что образ домового дожил до нас в литературе и кино, и дожил почти без искажений. Домовёнок Кузя, домовой из детских книг, «хранитель дома» в современных сериалах — это всё тот же маленький лохматый старичок, которому надо оставить еду. Мы перестали в него верить, но перестали совсем недавно, и форма осталась.

Вот что важно понять про домового. Вопрос «существовал ли он» — не тот вопрос. Система, в которой он жил, работала: она держала дом в порядке, объясняла необъяснимое и давала человеку ощущение, что он не один на один с миром. А сам дедушка за печкой — это, скорее всего, портрет прадеда, которого никто уже не помнит, но которого продолжают кормить.

И в этом, если подумать, есть что-то очень человеческое: память о предке, которая держится не на имени и не на фотографии, а на привычке оставлять часть еды тому, кого уже нет.

В следующий раз поговорим о баннике — о том, почему баня считалась самым опасным местом во всём дворе. Это «НЕБЫЛЬ». Меня зовут Савва Мирош. До встречи.

Глава 2 — Банник: почему баня считалась самым опасным местом в доме

Баня у нас ассоциируется с чистотой. А сто пятьдесят лет назад она ассоциировалась с местом, где человека могут убить. И это не преувеличение: в деревенских рассказах баня — единственная постройка во дворе, куда боялись заходить поодиночке и особенно после полуночи. Сегодня — про банника и про то, почему именно баня оказалась на границе миров.

Это «НЕБЫЛЬ», меня зовут Савва Мирош.

Для начала поймём, чем баня вообще была. Это не санузел и не спа. Это отдельная постройка, чаще всего в дальнем углу двора, ближе к воде. Печь без трубы — то есть топят по-чёрному, весь дым идёт внутрь и выходит через дверь. Температура под сто градусов. Полумрак. Вода, пар, голые люди. И главное: там рожали. Именно в баню уводили роженицу, там же мыли новорождённого, там же обмывали покойного перед похоронами. То есть в одном помещении проходили три ключевых перехода человеческой жизни: рождение, очищение и смерть.

Давайте сначала посмотрим, что такое чёрная баня физически, потому что отсюда вырастает половина поверий. Это небольшой сруб, обычно четыре на четыре метра или меньше. Низкая дверь — примерно метр двадцать, и через неё нужно переступать, нагибаясь. Одно маленькое окно, часто просто «волок» — задвижная дощечка. Ни трубы, ни дымохода. Печь — каменка: сложенная из камня или кирпича, сверху навалены булыжники, которые и дают пар.

Топят такую баню долго — три-четыре часа, и всё это время дым идёт внутрь помещения, а выходит через дверь и через окно. Стены от этого чёрные, закопчённые, и именно отсюда название «по-чёрному». Когда дрова прогорают, угли выгребают или дожигают, закрывают заслонку, и только после этого баня готова. Температура на полке — от семидесяти до ста градусов, а под потолком и выше.

Внутри — полок, на котором лежат, и лавка. Ушат с холодной водой, шайки, веники, подвешенные к потолку. Пол земляной или дощатый, с наклоном, чтобы вода уходила. Света почти нет: днём — из окна, вечером — от лучины или маленькой лампы, которую ставили так, чтобы не залить водой.

И вот теперь становится понятно, почему это место считалось опасным без всякой мистики. Закрытое помещение, сто градусов, раскалённые камни, кипяток, скользкий пол, открытый огонь, темнота и человек без одежды. Баня была самой частой причиной пожаров в деревне — именно поэтому её и ставили отдельно, подальше от избы, ближе к реке или колодцу. Практика тут первична, а образ хозяина наложился на неё позже.

И второе: баня обслуживала три главных перехода в жизни человека. Начнём с рождения. Рожали именно в бане, и это было почти повсеместным обычаем, зафиксированным и в губернской этнографии, и в церковных поучениях, которые с этим обычаем боролись.

Причин несколько, и все они разумные. В бане тепло — а роды зимой в неотапливаемой части избы были бы катастрофой. В бане есть вода в любом количестве, а при родах воды нужно много. В бане можно закрыться, и это приватность, которой в избе, где живёт вся семья, просто не существует. И наконец — баня стоит отдельно, а значит, кровь, которая считалась ритуально нечистой, не попадёт в жилое пространство, где стоит икона и красный угол.

Роженицу вели в баню повитуха и одна-две женщины из родни. Мужчин туда не допускали. Роды шли под присмотром повитухи, и она же потом мыла младенца. После родов женщина оставалась в статусе «нечистой» сорок дней, и только по истечении этого срока над ней читали очистительную молитву и пускали обратно в церковь. Баня здесь — точка входа в новый статус.

Кстати, если ребёнок рождался слабым или недоношенным, существовал отдельный обряд — перепекание. Младенца клали на хлебную лопату и трижды задвигали в тёплую печь в избе. Это уже не баня, но логика та же: тепло, замкнутое пространство, символическое «допе-

кание» того, что не дозрело. Обряд записан в разных губерниях, и он прекрасно показывает, как народная медицина работала с образами.

Теперь про смерть. Покойного мыли тоже в бане. Обмывание совершали женщины — обычно не родня, а специальные обмывальщицы, которых приглашали со стороны. Тело мыли тёплой водой, одевали в чистое, и только после этого вносили в избу. Баня здесь — точка выхода: человек уходит из мира живых через то же самое помещение, через которое пришёл.

И третье — свадьба. Накануне венчания невеста шла в баню с подругами, и это называлось девичья баня. Там её мыли, расплетали косу, плакали над ней, и плач был не случайным, а обязательной частью обряда: девушка прощалась со своей волей. В бане же мылся и жених, но отдельно, со своей компанией. То есть баня сопровождала и этот переход тоже.

Три перехода в одном помещении. Рождение, брак, смерть. С точки зрения народной логики это не «помывочная», это портал — и портал нужно охранять. Этнографы называют такие места пограничными. И по народной логике пограничное место не может быть ничейным — у него обязательно есть хозяин. У дома хозяин домовой, у двора — дворовой, у леса — леший, у воды — водяной. У бани — банник.

Что значит «пограничное»? В народной картине мира есть своё пространство — дом, двор, поле, — и есть чужое: лес, вода, дорога, перекрёсток. Граница между ними не линия, а место, и у этого места особый статус. Там действуют другие правила, там нельзя вести себя как дома, и там, по поверьям, легче всего встретиться с чем-то не своим.

Баня в этой системе — чистая граница. Смотрите сами: она стоит за пределами жилого двора или в его дальнем углу. В ней нет иконы и нет красного угла — того сакрального центра, который есть в каждой избе. В неё не заходят с крестом. В ней человек без одежды, то есть без социального статуса. В ней происходят вещи, которые больше нигде не происходят: роды, обмывание покойного, гадания.

То есть баня — это не «грязное место», а место вне обычного порядка. Оно не плохое и не хорошее, оно другое. И любое «другое» место в народной культуре обязательно получает хозяина, потому что бесхозного пространства не бывает: если нет домового, значит, придёт кто-то чужой.

Отсюда, кстати, и отношение к бане как к месту, где можно получить доступ к иной информации. Гадания в бане — не случайность. Гадать нужно там, где обычное не действует. Изба для этого не годится: она вся пронизана домашним порядком. А баня — да.

Как он выглядел? В записях — по-разному, но чаще всего это маленький старичок, покрытый сажей и слизью, с горящими глазами, весь в клочьях пара. Иногда — просто камень, который шевелится. Афанасьев и более поздние собиратели зафиксировали его имена: «баенник», «банник», «жихарка», а в северных губерниях — «баенный дедушка». Обращались к нему так же, как к домовому: по имени не называли, здоровались вслух, входя в баню, и просили разрешения.

Про женскую сторону этого образа стоит сказать отдельно. В записях рядом с банником встречается и женское существо, которое называют по-разному: «обдериха», «банница», а иногда просто «шишига». Функция у неё та же — наказывать нарушителя, — но методы описывают иначе: обдериха, по поверьям, могла защекотать до смерти или ободрать кожу. Имя «обдериха» прямо говорит, что она делает.

Интересно, что в одних губерниях о баннике рассказывают как о мужике, в других — как о паре, в третьих женский образ почти вытесняет мужской. Это обычная картина для народной демонологии: образ не фиксирован, он живёт в рассказах и каждый раз пересобирается заново. Собиратели девятнадцатого века — и Даль в своих заметках о поверьях, и Максимов в книге «Нечистая, неведомая и крестная сила», — записывали десятки вариантов одного и того же существа и честно публиковали их все, не приводя к одному знаменателю.

Хорошая параллель есть у соседей. В финской традиции живёт саунатонтту — дух-хранитель сауны, маленький старичок, который живёт под полком. Ему оставляют воду, его нельзя тревожить, он следит за порядком и сердится, если в сауне шумят или засиживаются допоздна. Сауна, как и русская баня, топится без дымохода, и набор правил там почти идентичный. То есть перед нами не уникальная русская выдумка, а общий северный сюжет: помещение с огнём, паром и нагими людьми обязательно получает хозяина.

Теперь про правила, и вот тут начинается самое интересное. Баню топили в три напара: первый — для хозяйственных нужд, второй — для семьи, третий — самый жаркий и самый «нечистый». Считалось, что после третьего напара в бане остаётся сам хозяин и вся нечисть, которая собралась за день. Поэтому третий напар запрещали детям, беременным и больным. И никому нельзя было мыться после полуночи.

Про дни и порядок. Банный день в большинстве регионов — суббота. К субботе баню топили всей семьёй, и мылись по очереди: сначала мужчины, потом женщины, потом дети. В некоторых губерниях банным днём был четверг или пятница, но суббота преобладала — отчасти потому, что воскресенье отводилось церкви, а мыться нужно было до неё.

Отсюда вырастает ещё одно поверье, и оно очень показательное. Считалось, что последний пар принадлежит самому баннику: когда все люди помылись и ушли, хозяин моется сам. Поэтому после последнего напара в баню не заходили — там уже не человек, там другое. В части записей добавляли, что если остаться и подсмотреть, банник обидится, а обиды такие не прощают.

С банником было принято договариваться, и способы почти совпадают с домовыми. Ему оставляли в бане воду — ушат или шайку. Оставляли кусок мыла и чистую тряпку. Иногда оставляли веник. Уходя, говорили вслух что-то вроде «спасибо» или «пару тебе», — формулы в разных местах свои, но жест один: ты пользовался чужим помещением и оставил хозяину плату.

Отдельный запрет — не мыться в праздник и в большие церковные дни. Это уже наложение христианского календаря на языческую практику: праздничный день принадлежит Богу, а баня — место вне церковной защиты, значит, в праздник туда идти не нужно. Запрет удобно совпадал с практическим смыслом: в праздник люди и так заняты, а топить баню — четыре часа работы.

Заходили в баню обязательно с крестным знамением, а выходили — тоже. Крест перед входом снимали и оставляли снаружи: в баню с крестом идти было нельзя, это место вне церковной защиты. Одежду складывали аккуратно, не бросали. Вслух не ругались, не пели, не свистели. И ни в коем случае не засиживались.

Теперь про крест и про отношение церкви — это важный слой, без которого картина неполная.

Крест снимали перед входом. Объяснений в самих рассказах обычно не даётся, просто «нельзя». Но логика восстанавливается: крест — знак защиты, а баня — пространство, где защита не действует или где она неуместна. Если войти с крестом, ты либо оскорбляешь хозяина, либо провоцируешь его: ему нечего тебе противопоставить, и он начинает действовать иначе. Есть и вторая версия, более бытовая: крест в бане — это металл на голом теле при ста градусах, он нагревается и обжигает. Народная мысль такие вещи тоже учитывала.

Церковь к бане относилась сложно. С одной стороны, мыться не грех, и в поучениях никто не запрещал гигиену. С другой стороны, вокруг бани существовал плотный слой обрядов, который к христианству отношения не имел: гадания, заговоры над водой, обращения к хозяину, обычай оставлять ему воду и мыло. Именно это и осуждалось в поучениях против «двоеверия» — тексты, которые с пятнадцатого-шестнадцатого века повторяют один и тот же список обычаев, с которыми нужно бороться.

Заметьте важную деталь: церковь не боролась с банником как с существом. Она не говорила «его нет». Она говорила «это бесовское», то есть признавала реальность и переквалифицировала её. Это типичная стратегия, и она прекрасно объясняет, почему образ дожил до двадцатого века: его не опровергли, его просто пересадили в другую систему координат, где он продолжал работать.

Если кто-то нарушал правила, банник, по поверьям, действовал грубо. Мог обварить кипятком — и тут, заметьте, никакого мистицизма: в чёрной бане действительно легко получить тяжёлый ожог. Мог задушить паром — тепловой удар в закрытом помещении при ста градусах убивает за минуты. Мог «закружить» — то есть человек терял сознание. А северные рассказы добавляют: банник сдирает кожу и надевает её на себя. Жуткая деталь, которая, скорее всего, описывает последствия ожога.

Разберём наказания по пунктам, потому что под каждым из них лежит реальная физика.

Обварить кипятком. В чёрной бане вода греется в котле прямо над огнём, и котёл раскалён. Зачерпнуть шайкой кипяток, перепутать ушат с котлом, плеснуть на камни и получить обратный выброс пара — всё это делается за секунду и заканчивается ожогом второй-третьей степени. Ожог на большой площади в деревне девятнадцатого века — это почти гарантированная смерть через несколько дней от инфекции.

Закружить, то есть лишить сознания. Здесь работает угар. Если закрыть заслонку слишком рано, пока угли ещё живые, в бане начинает скапливаться угарный газ. Он не имеет ни цвета, ни запаха, и человек не чувствует, как теряет сознание — сначала слабость, головокружение, тошнота, потом темнеет в глазах. Отсюда рассказы о том, что банник «кружит» и «водит». Человек, которого вытащили, не помнит, что произошло, и рассказывает именно так: зашёл — и закружило.

Задушить паром. Тепловой удар при ста градусах в закрытом помещении развивается быстро, особенно у пожилого человека, у ребёнка или у того, кто перед баней выпил. Сердце не выдерживает нагрузки. В народных рассказах это описывается как «банник навалился на грудь».

Снять кожу. Самая жуткая деталь, и она, скорее всего, тоже не выдумана. Отслаивание кожи — реальное последствие глубокого ожога. Человек, увидевший такое, рассказывал об этом как о действии существа, и рассказ закреплялся, потому что объяснял увиденное.

И общий вывод: правило «не ходить в баню одному» и «не мыться после полуночи» — это не суеверие. Если ты потеряешь сознание в бане один и ночью, тебя найдут утром, и найти уже будет некого. При двух людях и днём угар или обморок заканчиваются вытащенным на снег человеком, который отделается головной болью. Разница — в наличии свидетеля.

Отдельная история — гадания. В бане гадали чаще всего на Святки, и именно потому, что это место вне жилого мира: там можно было услышать то, чего не услышишь дома. Девушки заходили поодиночке, открывали дверь, протягивали руку в темноту и ждали: если коснётся мохнатая рука — жених будет богатый, если голая — бедный. Страшно? Очень. Поэтому за спиной всегда стояли подруги.

Гаданий было несколько типов, и они хорошо показывают, как работала логика «места вне порядка».

Первый — подслушивание. Девушка подходит к закрытой бане ночью и слушает. Если внутри слышится плеск воды и смех — свадьба будет скоро и весело. Если тишина или, наоборот, стон — значит, плохо. Смысл в том, что баня ночью не пустует: там «моется» кто-то другой, и по его поведению можно угадать своё будущее.

Второй — зеркало. Зеркало и свеча в бане, и девушка смотрит в зеркало, пытаясь увидеть жениха за своим плечом. Это общеизвестный святочный сюжет, но место — именно баня или другое нежилое помещение, потому что дома такое делать нельзя.

Третий — рука. Тот, что я уже назвал: выйти из бани, протянуть руку и ждать прикосновения. Вариант мягче: зачерпнуть в бане воду и вынести на улицу, а утром посмотреть, что в воде оказалось — щепка, соломинка, волос. По этому и гадали.

Почему именно Святки? Потому что это двенадцать дней между Рождеством и Крещением, время, которое в народном календаре считается открытым: граница между мирами тонка, и гадать в эти дни эффективнее всего. Баня в этот период получает дополнительную нагрузку: она и так пограничная, а тут ещё и время пограничное. Двойная граница.

И вот что интересно с практической точки зрения: гадание — это социальный ритуал, который собирает молодёжь вместе в тёмное зимнее время, даёт повод выйти из дома и легально испытать страх в компании. Никто не шёл гадать в одиночку, всегда шли группой, и страх делился на всех. Функция тут ровно та же, что у страшных историй у костра.

Теперь — зачем всё это. Снова, как с домовым, смотрим на систему, а не на духа. Баня была самым травмоопасным местом в крестьянском хозяйстве: огонь, кипяток, угарный газ, скользкий пол, полная нагота и одиночество. Никакой инструктаж в обществе без письменности не работает. А вот хозяин, который накажет, — работает. «Не ходи в баню один ночью» — это правило техники безопасности, одетое в образ старичка из пара. «Не мойся после третьего напара» — это правило против перегрева. «Не бери с собой ребёнка» — это правило против детской смертности от жара и угара.

И ещё один слой, психологический. В бане человек голый, уязвимый, без статуса, без одежды и без украшений. Все равны. Именно поэтому баня в народной культуре — место, где нельзя врать и нельзя важничать. Хозяин бани это контролирует.

Нагота уравнивает радикально. В избе человек одет, и одежда сообщает о нём всё: кто он, насколько богат, замужем ли, в трауре ли. В бане этой информации нет. Отсюда поговорки и присловья, которые дошли до нас в бытовом виде: в бане все равны, в бане чинов нет. Это не шутка, это фиксация реального социального факта.

Отсюда же и запрет важничать и врать. Рассказы о баннике почти всегда наказывают за поведение, а не за ошибку: наругался, засмеялся, начал хвастаться, плюнул на камни, стал бить шайкой. То есть хозяин бани следит не за техникой безопасности, а за манерами. В помещении, где все равны, любое проявление превосходства — нарушение.

И ещё одна деталь, которая показывает, насколько баня была «местом правды». Именно в бане иногда проводили своего рода испытание: человека, подозреваемого в чём-то, просили пойти в баню одному ночью. Считалось, что если он виновен, банник его не выпустит. Это, конечно, уже чистая мифология, но она показывает статус места: баня — пространство, где нельзя притвориться.

Сегодня от банника осталась привычка говорить «с лёгким паром» — то есть пожелание человеку, который только что вышел из опасного места. Это, по сути, формула возвращения обратно в жилой мир. Говоря её, мы до сих пор отмечаем переход через порог.

Что ещё дожило до сегодня, кроме «с лёгким паром»?

Первый пар. Выражение «первый пар» или обычай не лить воду на камни сразу, а дать бане постоять, — прямой потомок представления о том, что пар принадлежит хозяину и его нужно задобрить. Сегодня никто не думает о баннике, но последовательность действий сохранилась.

Веник, который не выбрасывают сразу. Им парятся, потом запаривают, потом иногда вывешивают сушиться. Отношение к венику как к предмету, который не просто инвентарь, — тоже оттуда.

Запрет мыться перед дорогой. В ряде семей до сих пор говорят, что перед поездкой мыться нельзя. Это переосмысленный запрет на рискованное действие в неподходящий момент: раньше баня была опасной, и идти в неё перед поездкой, когда нужен свежий и крепкий человек, было неразумно.

И самое забавное — привычка не ходить в баню в одиночку. Формально мистика ушла, но правило осталось, и оно по-прежнему спасает жизни: тепловой удар и угар никуда не делись, и статистика происшествий в банях это подтверждает каждый год.

Так что банник, если смотреть честно, оказался одним из самых эффективных персонажей народной культуры. Он не требовал храма, не требовал грамоты и не требовал письменной инструкции. Он требовал одного: чтобы человек, заходя в самое опасное место своего хозяйства, вёл себя там осторожно и не оставался один.

В следующий раз — Баба-Яга: кем она была до того, как стала злодейкой из сказки. Это «НЕБЫЛЬ». Меня зовут Савва Мирош. До встречи.

Глава 3 — Баба-Яга: кем она была до сказок

Все знают, что Баба-Яга живёт в избушке на курьих ножках, летает в ступе и хочет кого-то съесть. Почти никто не знает, что в половине сказок она этого человека спасает: кормит, парит в бане, даёт коня, волшебный клубок и совет. То есть один и тот же персонаж в одном и том же сюжете — и угроза, и помощник. Сегодня разберёмся, почему так.

Это «НЕБЫЛЬ», меня зовут Савва Мирош.

Начнём с того, что Баба-Яга — не одна. Собиратели сказок в девятнадцатом веке записали сотни вариантов, и Пропп, который первым разобрал этот образ системно в книге «Исторические корни волшебной сказки», выделил три типа Яги. Первая — дарительница: к ней приходит герой, она его испытывает, кормит и даёт средство. Вторая — похитительница: она уносит детей. Третья — воительница: с ней сражаются. И вот это ключевое наблюдение Проппа: все три функции принадлежат одному и тому же персонажу, потому что все они описывают одно и то же событие — переход.

Разберём типы чуть подробнее, потому что это не академическая игра, а способ читать сказку.

Дарительница — самая частая. Герой приходит, она его ругает за то, что пришёл без спроса, но потом кормит, парит в бане, укладывает спать и только утром спрашивает, зачем пришёл. Порядок принципиальный: сначала обслуживание, потом разговор. Это нарушение нашей бытовой логики, где гостя сначала расспрашивают, и оно указывает на то, что сцена пришла из ритуала, а не из быта.

Похитительница — та, что уносит детей. Здесь сюжет другой: ребёнок попадает к Яге обманом, и его нужно выручать. Самый известный вариант — «Гуси-лебеди», где сестра идёт за братом и по дороге трижды отказывается помочь печке, яблоне и речке, а потом понимает, что помощи ждать неоткуда.

Воительница — редкая, но важная. С Ягой сражаются, и обычно бой кончается не победой, а договором: она признаёт силу героя и даёт ему то, за чем он пришёл.

Имен у персонажа много, и это тоже признак древности. В записях встречаются Ягишна, Егибишня, Ягая, Язя, Егинична. Происхождение самого слова «Яга» спорно: его связывают и с общеславянским корнем, обозначающим ужас и негодование, и с польским словом, означающим ведьму или фурию, и с чешским именем лесного женского духа. Единого ответа нет, и это нормально для образа, которому больше тысячи лет.

Что за переход? Версия, которая сейчас считается основной: Баба-Яга — это фигура обряда инициации. Подростка в древности уводили из поселения в лес, там его «умерщвляли» для детства и возвращали взрослым. У Проппа есть знаменитая формула: Яга «жарит» детей на лопате — а это прямой след ритуального перерождения через символическую смерть и пищу. Заметим, что в сказке ребёнок никогда реально не съеден: он всегда обманывает Ягу и выскакивает обратно.

Про инициацию стоит поговорить отдельно, потому что это самая известная и самая спорная часть толкования.

Как устроена инициация в схемах, которые реконструируют этнографы? Подростка — обычно мальчика двенадцати-пятнадцати лет — уводят из поселения. Он считается умершим для прежней жизни: дома по нему плачут, иногда устраивают символические поминки. Его приводят в лес, в специальное помещение, где старшие мужчины проводят обряды. Там его испытывают: болью, холодом, страхом, иногда ритуальными надрезами и татуировкой. Там ему сообщают знание, которое нельзя передавать женщинам и неинициированным. И потом он возвращается в деревню уже взрослым — с новым именем, с правом жениться и с правом носить оружие.

Пропп наложил эту схему на сказку — и она легла почти идеально. Героя уводят в лес. Он попадает в дом, который выглядит как погребальная постройка. Хозяйка дома собирается его изжарить. Он избегает смерти. Он получает волшебное средство и возвращается.

Знаменитая сцена с лопатой — прямое отражение этого. Яга велит ребёнку лечь на лопату, чтобы посадить в печь, а ребёнок говорит: «Я не умею, покажи, как». Она ложится сама, и её выталкивают в печь. В ряде сказок вместо Яги в печь отправляют её собственную дочь. Это, конечно, не описание реального обряда — никто детей не жарил. Это символ перерождения: пройдя через огонь, ты становишься другим существом.

Тот же символ работает в обряде перепекания младенца, о котором я говорил в прошлый раз: слабого ребёнка задвигают в тёплую хлебную печь, чтобы он «допёкся». Печь здесь — не место казни, а место изготовления человека.

Но надо быть честным. Современные фольклористы относятся к этой схеме осторожнее, чем сам Пропп. Во-первых, прямых свидетельств славянской инициации у нас почти нет — мы её реконструируем по косвенным данным. Во-вторых, сказка записана в восемнадцатом-девятнадцатом веке и прошла через множество пересказов, и не всякая деталь обязана восходить к обряду. В-третьих, часть сказок про Ягу объясняется проще — бытовой логикой страха перед чужой старухой в лесу.

Поэтому правильная формулировка такая: версия Проппа — самая сильная из существующих, она объясняет большинство странных деталей, но она остаётся реконструкцией, а не доказанным фактом.

Теперь про внешность, потому что она не случайна. У Яги костяная нога. Пропп читает это как признак мертвеца: в народной демонологии у существа с того света одна нога живая, другая — мёртвая, костяная. У неё слепые глаза, но она чует героя по запаху: «Фу-фу, русским духом пахнет». Она не видит живого мира — она его нюхает. И живёт она в лесу, а лес в народной картине мира — это территория мёртвых, всё, что за границей деревни.

Пройдёмся по деталям внешности, потому что каждая из них что-то означает.

Костяная нога. Пропп читает её как признак существа с того света: в народной демонологии у таких существ одна половина тела живая, другая мёртвая. Есть и более бытовое объяснение: у старух, которые живут одни в лесу, часто болят ноги, и «костяная» — просто очень худая, высохшая. Оба толкования могут работать одновременно.

Слепота. Яга не видит, она нюхает: «Фу-фу, русским духом пахнет». Это важная черта: существо, которое воспринимает мир не зрением, находится в другой системе координат. Зрение — чувство живых, работающих на расстоянии и в свете. Запах — чувство близкое, животное, связанное с телом. Мертвец узнаёт живого по запаху жизни.

Нос, вросший в потолок. Формула из сказок: «лежит Баба-Яга, костяная нога, нос в потолок врос». Это описание неживого положения: так лежит тело, которое давно не двигалось. Обратите внимание — герой видит её раньше, чем она его замечает. Он стоит в дверях и смотрит на то, что должно быть мёртвым, но сейчас встанет.

И ещё одна деталь, которую в детских изданиях обычно вычищают: в части записей Ягу описывают в выражениях, подчёркивающих её телесность до предела — грудь, перекинутая через корыто, и тому подобное. Смысл тот же: перед нами не просто старуха, а тело, вышедшее за человеческие границы.

Дальше — избушка на курьих ножках. Это, скорее всего, не фантазия, а реальная постройка. «Курьи ножки» — столбы, обкуренные дымом, то есть обработанные так, чтобы не гнили: именно так ставили амбары и, что важнее, так ставили домовины — наземные срубы с прахом умерших, которые до сих пор встречаются в северных лесах. Такая постройка стоит на пнях высотой метра полтора, вход у неё один, окон нет, и повернута она в сторону леса, а не дороги.

Про «курьи ножки» надо сказать внимательнее, потому что тут есть несколько версий.

Основная, которую предложил Пропп и которую повторяют чаще всего: это обкуренные дымом столбы или пни. Дымовая обработка древесины — старый способ защиты от гниения: столб обжигают и окуривают, и он служит десятилетиями. Именно так ставили лабазы — наземные срубы для хранения припасов, и именно так ставили погребальные сооружения.

Погребальная сторона тут важнее всего. У народов севера — у хантов, манси, селькупов, у коми, у русских старожилов Приуралья и Сибири — зафиксирован обычай ставить умершего в срубе на высоких столбах, в лесу, подальше от жилья. Такой сруб называется домовина, и он действительно стоит на обкуренных пнях высотой полтора-два метра. Вход у него один, окон нет или они крошечные, а повернут он обычно в сторону леса или по ходу солнца.

Что получается? Герой сказки подходит к дому, который в реальности выглядит как могила. Он просит его повернуться, входит внутрь и находит там хозяйку, которая должна быть мёртвой, но жива. Если слушатель девятнадцатого века узнавал в описании реальную постройку, которую он видел в лесу, — а он её узнавал, — то эффект был совсем не тот, что у нас при чтении детской книжки.

Есть и другие объяснения. Говорят, например, что «курьи» — от «куриных» ножек, то есть просто тонкие столбики. Есть версия про сруб, поставленный на пни, чтобы под ним не гнило. Эти версии не отменяют основную: тонкие обкуренные столбы — деталь, которая в любом случае указывает на постройку нежилую, хозяйственную или погребальную.

Отсюда знаменитая команда: «Избушка, избушка, повернись ко мне передом, а к лесу задом». Герой просит мертвецкий дом развернуться входом к живому миру. И ещё одна деталь: избушку нельзя обойти — вокруг неё тын из человеческих костей, а на тыне черепа, и у черепов светятся глаза. Это не украшение, это граница кладбища.

Сказка о Василисе — лучшая иллюстрация всего сказанного, поэтому пройдём по ней целиком.

Умирает мать и оставляет дочери куколку, которую нужно кормить и у которой нужно спрашивать совета. Мачеха изводит девочку и в конце концов отправляет её в лес к Бабе-Яге — за огнём. Формально это поручение, по сути — приговор: из такого похода обычно не возвращаются.

Василиса идёт и по дороге встречает трёх всадников — белого, красного и чёрного. Она не спрашивает, кто они, и это правильно: знание о времени суток у чужой границы просто так не берут. Попав к Яге, девочка получает работу: перебрать зерно, очистить просо, убрать двор. Работы невыполнимые, и их выполняет куколка — то есть помощь, полученная от матери, срабатывает ровно там, где бессильны собственные силы.

Яга отпускает её и даёт череп с горящими глазами. Василиса приносит череп домой, и череп сжигает мачеху и её дочерей взглядом. Обратите внимание: Яга никого не наказывала. Она просто дала предмет, а предмет сделал своё дело.

Здесь видно всё сразу: граница, испытание, невыполнимая работа, даритель, вынос силы с той стороны и возвращение домой. И видно главное — Яга ни разу не поступила несправедливо. Она действовала строго по правилам своего места.

Тын из человеческих костей и черепа со светящимися глазами — деталь, которую обычно читают как «страшно», а читать её нужно как «граница».

Ограда из костей и черепов — это обозначение кладбища. В сказке «Василиса Прекрасная» Яга даёт девочке череп с горящими глазами, и этот череп потом сжигает мачеху и её дочерей взглядом. То есть череп работает как предмет силы, вынесенный с той стороны.

Важно, что герой проходит через тын свободно — ему не мешают. Граница охраняет не от входа, а от выхода: обратно живым уходят не все. И ещё важнее, что у черепов светятся глаза. В народной картине мира глаза у мертвеца — это канал, через который он смотрит на живых, и светящиеся глаза означают, что он смотрит прямо сейчас.

Сказка о Василисе — лучшая иллюстрация всего сказанного, поэтому пройдём по ней целиком.

Умирает мать и оставляет дочери куколку, которую нужно кормить и у которой нужно спрашивать совета. Мачеха изводит девочку и в конце концов отправляет её в лес к Бабе-Яге — за огнём. Формально это поручение, по сути — приговор: из такого похода обычно не возвращаются.

Василиса идёт и по дороге встречает трёх всадников — белого, красного и чёрного. Она не спрашивает, кто они, и это правильно: знание о времени суток у чужой границы просто так не берут. Попав к Яге, девочка получает работу: перебрать зерно, очистить просо, убрать двор. Работы невыполнимые, и их выполняет куколка — то есть помощь, полученная от матери, срабатывает ровно там, где бессильны собственные силы.

Яга отпускает её и даёт череп с горящими глазами. Василиса приносит череп домой, и череп сжигает мачеху и её дочерей взглядом. Обратите внимание: Яга никого не наказывала. Она просто дала предмет, а предмет сделал своё дело.

Здесь видно всё сразу: граница, испытание, невыполнимая работа, даритель, вынос силы с той стороны и возвращение домой. И видно главное — Яга ни разу не поступила несправедливо. Она действовала строго по правилам своего места.

И теперь самое важное. Почему Яга и пугает, и помогает? Потому что обряд инициации делает ровно это. Тебя ведут в лес, тебе страшно, тебя испытывают, тебя символически убивают — и ты возвращаешься с новым статусом, новым знанием и часто с женой. Яга — это тот, кто проводит через границу. Проводник не может быть добрым, потому что он не из твоего мира. Но он и не враг, потому что без него ты не перейдёшь.

Теперь про то, как Яга принимает решения, потому что это самая практичная часть образа.

Она всегда действует по формуле: испытание, затем помощь, затем условие. Герой должен правильно себя повести — не нагрубить, ответить на вопрос, выполнить поручение. Если он ведёт себя верно, Яга превращается из угрозы в дарителя. Если неверно — из дарителя в угрозу.

Это не характер, это механизм. И механизм этот понятен любому, кто когда-либо приходил к чужому человеку за помощью: сначала тебя проверяют, потом дают, потом ждут ответной услуги. Яга почти никогда не помогает бескорыстно. Она даёт коня, клубок или совет — и взамен герой обязан что-то сделать, куда-то сходить, кого-то не трогать.

Отсюда, кстати, знаменитая ягина способность повелевать. У неё в подчинении звери, птицы и даже время. В «Василисе Прекрасной» мимо её двора проезжают три всадника: белый, красный и чёрный. Василиса спрашивает, кто они, и Яга отвечает — это день мой ясный, это солнце моё красное, это ночь моя тёмная. То есть у неё в собственности находится смена суток.

Персонаж с такими полномочиями не может быть просто злой старухой. Это хозяйка пространства, и пространство у неё — не поляна и не избушка, а граница между жизнью и смертью.

Отсюда и баня. «Накорми, напои, в баньку своди» — это не гостеприимство, это ритуальная подготовка героя к переходу: еда чужого мира, омовение, переодевание. Точно так же поступали с покойником и точно так же поступали с подростком перед посвящением.

Про еду у Яги нужно сказать отдельно, потому что это общемировой сюжет, а не только славянский.

Правило простое: кто съел пищу мира мёртвых, тот не может вернуться обратно. Самый известный пример — греческий миф о Персефоне: она съела в подземном мире несколько зёрен граната и поэтому вынуждена возвращаться туда каждый год. В скандинавской традиции тот же мотив: еда в мире мёртвых связывает.

В русской сказке герой у Яги ест. Много, досыта, и это описано подробно. Казалось бы, по мировой логике это должно его там оставить — но он уходит. Объяснение, которое предлагают, такое: герой ест сознательно и по правилам, как часть обряда, а не по неосторожности. Ритуальная пища не привязывает, она меняет статус. Он съел еду чужого мира и стал в нём своим — достаточно, чтобы пройти, и недостаточно, чтобы остаться.

Поэтому «накорми, напои, в баньку своди, а потом и спрашивай» — это не вежливость и не гостеприимство. Это процедура допуска. Её проходят и покойник, и посвящаемый, и герой сказки. Одинаково.

Ещё пара атрибутов, которые мы воспринимаем как декорацию.

Ступа. Яга едет в ступе, пестом погоняет, а помелом заметает след. Ступа — это не транспорт в обычном смысле. Это предмет, связанный с обработкой зерна, то есть с превращением одного вещества в другое. Толочь в ступе — значит менять форму. И то, что Яга ездит верхом на этом предмете, говорит: она и есть то, что меняет форму.

Помело, которым она заметает след, — деталь не менее важная. След заметают, чтобы тебя не нашли. Это прямая функция проводника между мирами: он уводит и убирает за собой дорогу, чтобы обратный путь был невозможен для посторонних.

Добавьте сюда то, что она появляется внезапно и исчезает внезапно, что у неё нет ни мужа, ни двора, ни хозяйства в обычном смысле, — и получается существо, которое существует только в момент перехода. В остальное время его как бы нет.

Что осталось от Яги сегодня? Образ сильной женщины на границе, к которой идут за ответом и которой боятся. Обратите внимание, как изменилась интонация: в древности она — жрица перехода, в сказке девятнадцатого века — ведьма, в мультфильме — смешная старуха, в современной культуре — снова фигура силы. Пропп объясняет это просто: когда обряд умирает, его участники превращаются в сюжет. Люди забывают, зачем старуха сажала ребёнка на лопату, но продолжают рассказывать сказку.

Стоит проверить этот образ на соседях, потому что одиночные персонажи обычно выдумываются, а общие — наследуются.

В польской традиции есть слово, обозначающее ведьму или фурию, — злую женскую силу, которой пугают. В чешской — имя лесного или водного женского духа, близкое по звучанию. В южнославянских традициях живёт фигура бабы, которой пугают детей: она уносит тех, кто не слушается. Имена разные, наборы черт разные, но тип один: старая женщина, живущая вне общины, связанная с лесом и с похищением детей.

Это значит, что перед нами не русское изобретение, а общеславянское — а может быть, и более широкое. Тип «старухи на границе» есть почти во всех европейских традициях, и в каждой он оброс своими деталями. Наша Яга отличается тем, что у неё сохранилась функция проводника, а не только функция страшилки. В большинстве западноевропейских сказок ведьма просто злая. Яга — нет.

Отдельный вопрос, который часто задают: а чем Яга отличается от Кощея? Оба живут на границе, оба связаны со смертью, и обоих герой должен перехитрить.

Разница в функции. Яга проводит через границу: она даёт средство и отправляет дальше. Кощей границу держит — он забирает и не отпускает. Яга работает с живым, который идёт вперёд. Кощей работает с тем, что уже захвачено.

Отсюда и их отношение к герою. Яга кормит его, даже если собирается изжарить, — ритуал требует обслуживания гостя. Кощей никого не кормит и сам в сказках почти не ест: он живёт как бы вне жизни, и его бессмертие выглядит не как дар, а как невозможность закончиться.

Есть и общая черта, указывающая на единое происхождение: у обоих смерть вынесена наружу. У Кощея она в игле, игла в яйце, яйцо в утке, утка в зайце, заяц в сундуке, а сундук на дубе. У Яги смерти нет вообще — её в сказках не убивают. Её обходят, обманывают, с ней

договариваются, от неё уходят. Персонаж, которого нельзя убить обычным способом, — это персонаж не из мира живых.

Поэтому они и стоят в сказках рядом: два стража одного и того же порога, один встречает, другой не выпускает.

И последнее, о чём стоит подумать.

Яга — единственная в русском фольклоре женщина, которая живёт одна, владеет своим пространством, ни от кого не зависит и никому не подчиняется. У неё нет мужа, нет двора, нет деревни, которая её контролирует. У неё есть дочь, но и та появляется редко и почти не влияет на сюжет. Она сама решает, кому помочь, а кого съесть, и решения её не оспаривает никто.

Сравните с другими женскими образами сказок. Василиса — красавица, которая проходит через испытания и выходит замуж. Марья Моревна — воительница, но она всё-таки попадает в плен, и её выручают. Царевна-лягушка — заколдованная, то есть зависимая. Ни одна из них не хозяйка положения так, как Яга.

Может быть, именно поэтому её столько веков пытаются сделать злодейкой. Независимая пожилая женщина, которая живёт в лесу и никому не отчитывается, — фигура неудобная для любой системы, в которой женщина должна быть либо женой, либо матерью, либо послушницей. Сказка сохранила её, потому что сказке она была нужна по работе. А вот интонацию вокруг неё меняли много раз.

В следующий раз — Кощей, Морена и зима: откуда взялся сюжет похищения и почему «смерть» в славянской традиции — это сезон, а не злодей. Это «НЕБЫЛЬ». Меня зовут Савва Мирош. До встречи.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.